

На переломе (Кадеты) — эпизод 2 из 3

Но пуговица держалась по-прежнему крепко.

— Позовите Грузова! — сказал кто-то из толпы.

Тотчас же другие закричали: «Грузов! Грузов!» Двое побежали его разыскивать.

Пришел Грузов, малый лет пятнадцати, с желтым, испитым, арестантским лицом, сидевший в первых двух классах уже четыре года, — один из первых силачей возраста. Он, собственно, не шел, а влачился, не поднимая ног от земли и при каждом шаге падая туловищем то в одну, то в другую сторону, точно плыл или катился на коньках. При этом он поминутно сплевывал сквозь зубы с какой-то особенной кучерской лихостью. Расталкивая кучку плечом, он спросил сиплым басом:

— Что у вас тут, ребята?

Ему рассказали, в чем дело. Но, чувствуя себя героем минуты, он не торопился. Оглядев внимательно новичка с ног до головы, он буркнул:

— Фамилия?..

— Что? — спросил робко Буланин.

— Дурак, как твоя фамилия?

— Бу... Буланин...

— А почему же не Савраскин? Ишь ты, фамилия-то какая... лошадиная.

Кругом услужливо рассмеялись. Грузов продолжал:

— А ты, Буланка, пробовал когда-нибудь маслянки?

— Н... нет... не пробовал.

— Как? Ни разу не пробовал?

— Ни разу...

— Вот так штука! Хочешь, я тебя угощу?

И, не дожидаясь ответа Буланина, Грузов нагнул его голову вниз и очень больно и быстро ударил по ней сначала концом большого пальца, а потом мелко костяшками всех остальных, сжатых в кулак.

— Вот тебе маслянка, и другая, и третья!.. Ну что, Буланка, вкусно? Может быть, еще хочешь?

Старички радостно гоготали: «Уж этот Грузов! Отчаянный!.. Здорово новичка маслинками накормил».

Буланин тоже силился улыбнуться, хотя от трех маслянок ему было так больно, что невольно слезы выступили на глазах. Грузову объяснили, зачем его звали. Он самоуверенно взялся за пуговицу и стал ее с ожесточением крутить. Однако, несмотря на то, что он прилагал все большие и большие усилия, пуговица продолжала упорно держаться на своем месте. Тогда, из боязни уронить свой авторитет перед «малышами», весь красный от натуги, он уперся одной рукой в грудь Буланина, а другой изо всех сил рванул пуговицу к себе. Пуговица отлетела с мясом, но толчок был так быстр и внезапен, что Буланин сразу сел на пол. На этот раз никто не рассмеялся. Может быть, у каждого мелькнула в это мгновение мысль, что и он когда-то был новичком, в такой же курточке, сшитой дома любимыми руками.

Буланин поднялся на ноги. Как он ни старался удержаться, слезы все-таки же покатались из его глаз, и он, закрыв лицо руками, прижался к печке.

— Эх ты, рева-корова! — произнес Грузов презрительно, стукнул новичка ладонью по затылку, бросил ему пуговицу в лицо и ушел своей разгильдяйской походкой.

Скоро Буланин остался один. Он продолжал плакать. Кроме боли и незаслуженной обиды, какое-то странное, сложное чувство терзало его маленькое сердце, — чувство, похожее на то, как будто бы он сам только что совершил какой-то нехороший, непоправимый, глупый поступок. Но в этом чувстве он покамест разобраться не мог.

Страшно медленно, скучно и тяжело, точно длинный сон, тянулся для Буланина этот первый день гимназической жизни. Были минуты, когда ему начинало казаться, что не пять или шесть часов, а по крайней мере полмесяца прошло с того грустного момента, как он вместе с матерью взбирался по широким каменным ступеням парадного крыльца и с трепетом вступил в огромные стеклянные двери, на которых медь блестела с холодной и внушительной яркостью...

Одиноким, точно забытым всем светом, мальчик рассматривал окружавшую его казенную обстановку. Две длинные залы — рекреационная и чайная (они разделялись аркой) — были выкрашены снизу до высоты человеческого роста коричневой масляной краской, а выше — розовой известкой. По левую сторону рекреационной залы тянулись окна, полузаделанные решетками, а по правую — стеклянные двери, ведущие в классы; простенки между дверьми и окнами были заняты раскрашенными картинами из отечественной истории и рисунками разных зверей, а в дальнем углу лампада теплилась перед огромным образом св. Александра Невского, к которому вели три обитые красным сукном ступеньки. Вокруг стен чайной залы стояли черные столы и скамейки; их сдвигали в один общий стол к чаю и завтраку. По стенам тоже висели картины, изображавшие геройские подвиги русских воинов, но висели настолько высоко, что, даже ставши на стол, нельзя было рассмотреть, что под ними подписано... Вдоль обеих зал, как раз посреди их, висел длинный ряд опускных ламп с абажурами и медными шарами для противовеса...

Наскучив бродить вдоль этих бесконечно длинных зал, Буланин вышел на плац — большую квадратную лужайку, окруженную с двух сторон валом, а с двух других — сплошной стеной желтой акации. На плацу старички играли в лапту, другие ходили обнявшись, третьи с вала бросали камни в зеленый от тины пруд, лежавший глаголем шагах в пятидесяти за линией валов; к пруду гимназистам ходить не позволялось, и чтобы следить за этим — на валу во время прогулки торчал дежурный дядька.

Все эти впечатления резкими, неизгладимыми чертами запали в память Буланина. Сколько раз потом, за все семь лет гимназической жизни, видел он и эти коричневые с розовым стены, и плац с чахлой травой, вытоптанной многочисленными ногами, и длинные, узкие коридоры, и чугунную лестницу, — и так привык к ним, что они сделались как бы частью его самого... Но впечатления первого дня все-таки не умирали в его душе, и он всегда мог вызвать чрезвычайно живо перед своими глазами тогдашний вид всех этих предметов, — вид, совсем отличный от их настоящего вида, гораздо более яркий, свежий и как будто бы наивный.